
Владимир АЛЕЙНИКОВ

ВСПОМНЮ И ВОСПОЮ*

Местом встреч у ленинградцев было кафе на углу Владимирского проспекта, именуемое «Сайгоном».

Зайдешь туда — встретишь всех.

Вот Витя Кривулин, чернявый, блещущий из глубины дум своими темными, печальными зрачками, еще без бороды, без седины, без растрепанной гривы на голове, бледнолицый, с усилием опирающийся на палку, рассуждающий о чем-то, да этак умно, толково, в окружении почитателей. В конце шестидесятых прочитал я его сочинения. Экземпляр был довольно разборчивым, перепечатанным под синюю копирку. Одно стихотворение называлось «Читая Стерна». И начиналось оно так: «Вот март, и женщина необходима». Вот ведь как! Ну прямо сразу — быка за рога. Дальше шло развитие темы: «Но я люблю сухой огонь без дыма...» Тут уж надо было гадать: что это за огонь? Помню еще строки: «Где англичанин восемнадцатого века напоминает гармонического грека...» И все. Остальное — не запомнилось. Везде в текстах были аккуратно расставлены знаки препинания, и рифмы были на месте. По прошествии некоторого времени Витя стал записывать свои стихи по-иному, графику текста собственную выработал, пунктуация там отсутствовала, только запятые иногда появлялись — точно забежали сюда из прошлых лет. Витя много читал, много писал. В творчестве своем, будучи изначально традиционным, что, кстати говоря, ему шло, не устояв, наверное, перед питерскими поветриями, общими для всех питерцев и примерно одинаковыми, в дальнейшем из всех сил начал стремиться к авангардности, суперсовременности — и что-то хорошее, верное, важное ушло из его стихов. Зато предостаточно было — сделанности, этакой брюсовщины, с избытком — головного, даже ремесленнического. Стихи его невозможно запомнить. Нет в них мелодии. Нет музыки души, движений души. Нет заветного, кровного слова. Когда их читаешь, то видно прежде всего, как они сделаны. Тайна отсутствует. Каждый вправе распоряжаться со своим талантом так, как сам он считает нужным. Витя поступил по-своему. Выиграл он от этого? Прогадал? Пусть решают читатели. Мне же, помнится, очень понравились его новые стихи, написанные еще

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

* Продолжение. Начало: «Нева». 2021. № 5—6.

в прежней его традиции, которые тогда же, летом семьдесят второго, читал он в большом количестве на душном чердаке, в так называемой мастерской, временно предоставленной мне для жилья моим приятелем Наумом Подражанским. Потом, в другие годы — были у него совсем иные стихи. Такие, о которых и сказать-то я вынужден именно так: тексты.

Вот поэты — Петя Чейгин, невысокий, плотно сбитый, тугим комочком, как мячик на резинке, так и подпрыгивающий, так и рвущийся куда-то, просто в гости ли, где можно выпить, к знакомой даме ли, на которую есть у него виды, еще ли куда-нибудь, но только бы не застояться, поскорее бы двигаться вперед, как-то действовать, столько в нем было нерастраченной энергии, — и Боря Куприянов, ростом повыше, но блеклый какой-то, тенью прозрачной кажущийся, от чего-то бегущий, почему-то тревожащийся, странноватый, задумчивый, меланхолично-метущийся.

А рядом, стайкой, — милые дамы. Называть их, пожалуй, не стану. Много было их в прежние годы вокруг, наших верных подруг, боевых, да и только, чудесных современниц, прелестниц, приятельниц, на которых я мог положиться совершенно во всем, для которых столь важна была наша среда.

Как же — без них? Куда же — без них?

Без них — никак. Без них — никуда.

И так далее — это вечное «и так далее», — так от Хлебникова эта присказка и прошла сквозь время, живучая, как и сам Велимир, и стихи его, для которых вечность — их дом.

Все сюда собираются. Со всех концов города тянутся.

Кого надо, непременно увидишь.

Лет восемь назад случайно посмотрел я телевизионную передачу, называлась она «Культура „Сайгона“», — и тот же Витя Кривулин, уже давно бородастый, солидным баритоном повествовал о былых героических временах.

Вот ведь в какой ранг возвели забегаловку, переполненную завсегдатаями, давным-давно и весьма тесно знакомыми между собою, а также, как не единожды шепотом мне объясняли, постоянно дежурившими здесь стукачами и работниками органов.

Берешь чашку паршивого кофе, пахнущего чем-то горелым, паленым, бросаешь туда кусочек сахара-рафинада, размешиваешь позванивающей о края чашки алюминиевой ложечкой подозрительно болотного цвета пойло — и стой себе сколько угодно, хочешь — час, хочешь — целый день, и никто тебя никуда отсюда не гонит, попивай кофе, жуй бутерброд, поглядывай по сторонам, общайся с то и дело прибывающими в популярное заведение, по какой-то странной инерции словно отмечающимися здесь, жизни своей без «Сайгона» не мыслящими для себя многочисленными приятелями.

Будь уверен, тебя услышат. Еще как услышат! И те, незаметные, тихие граждане, что присматривают за посетителями, — тоже все услышат, что надо им. Впрочем, на них всем здесь было глубоко наплевать.

Люди в заведении, переполненном гулом голосов, звяканьем посуды, чпоканьем пробок, потихоньку открываемых, принесенных сюда с собою бутылок со спиртным, смехом, гомоном, восклицаниями, анекдотами, новостями, — сплошь, на кого ни посмотришь, незаурядные, сплошь, кого ни заметишь, знакомые.

Выйдешь на улицу — и встречаешь Наума Подражанского, босого и из-за этого порицаемого милиционерами, за то, что вид города портит, смущает гостей Северной столицы, приводит в восторг интуристов, на скандал нарывается при встрече с добропорядочными гражданами, не ладит с общественностью, вызывает ярость и осуждение у дружно ругающих стилиг и всяких нежелательных элементов старушек и вообще ведет себя, следует прямо сказать и на заметку поставить, вызываяще, и ежели что,

придется и меры принять соответствующие, ждя воздействия, для вразумления с виду вроде интеллигентного, а смотрите-ка, босяка, — оригинала, в кривых очках без одного стекла, со складывающимся в улыбку ртом без одного, выбитого милицией же в Павловске, зуба, всеобщего любимца, заядлого путешественника, страстного любителя стихов, сочинившего обо мне пьесу «Гений Коктебеля».

Тут же и его приятель Боря Гройс, еще не культуролог, а математик, человек не только питерский, но и коктебельский, завсегдатай в доме Марии Николаевны Изергиной, где встречал я его постоянно в предыдущие годы, довольно высокий, с бархатными интонациями в голосе, не богемный, но связанный приятельскими и дружескими отношениями со многими богемными людьми, впитывающий в себя разнообразные знания, вежливый, мягкий, приветливый, спокойный, сама воспитанность, прямо держащий спину, вспыхивающий голубыми глазами слегка навывкате.

И еще кто-нибудь, и еще...

А этот человек замечен издалека.

Довлатов!

Он обращает на себя внимание, вовсе не желая этого, — в любой ситуации, в любом интерьере и пейзаже.

Крупный и по совокупности внешних, физических данных, и по несомненности внутренних, духовных и творческих, достоинств, такой компанейский — и непостижимо одинокий человек.

Высоченный, прямо-таки утрированно громадный, оборачивался он на оклик всем корпусом, приветливо взмахивал рукой, улыбался — и устремлялся навстречу.

Он любил поговорить. Ему всегда был нужен хороший собеседник, чтобы и выслушать мог умеючи, и разговор поддержать,

Не надоедающее ему общение со знакомыми и незнакомыми людьми, планирование по городу, наблюдение этой жизни, городской, пульсирующей, пересыпанной синкопами, как в джазе, сулящей массу неожиданностей — дрожи, на которых росла и формировалась довлатовская проза.

Интересующийся решительно всем на свете, легкий на подъем, обостренно наблюдательный, жадный до подробностей каждого городского дня, да и каждой минуты, он не любил засиживаться или застаиваться на одном месте.

Можно пошутить, что в его тогдашнем существовании простое не было.

Он постоянно двигался. Внутренние его ритмы, в ходе которых выкристаллизовывались необходимые мысли и слова, совпадали с пульсом летнего города.

Встречались мы с Сергеем по несколько раз на дню, в самых неожиданных местах.

Бывало, взяв по кружке пива (напиток сей то и дело упоминается в моих записках, но что делать, если так все и было!), устраивались у гранитного парапета, разговаривая о том о сем. Или просто шли по теневой стороне улицы, неторопливо перекидываясь фразами.

Не похожий на петербуржцев ни в привычках своих, ни в пристрастиях, ни тем более в стихах, был я, видимо, Сергеем этим и интересен.

Он же, в свою очередь, петербуржец, но слишком уж выделяющийся, самобытный, выпадающий из общего ряда, был интересен для меня.

Как-то незаметно мы подружились.

В общении нашем сразу выработалась своя этика. Друг другу мы себя не навязывали. Главную роль играл элемент случайности.

Встретились прямо на улице, посреди раскаленного, пышущего жаром, дышащего тяжело, с усилием, но все-таки живущего, как и раньше он жил, как и впредь будет

жить, хоть и не вполне российского по облику своему, больше приморского, полузаморского, вполне европейского вроде бы, пусть и с досадным налетом азиатчины, скорее в самих людях, и особенно в людях приезжих, не питерских, нежели в строениях, но еще и запредельного, нередко и зазеркального, жутковатого, но и небывало прекрасного, с красотой, вначале петровской, развивавшейся по плану, а потом широко расплеснувшейся вдоль реки, по каналам, по набережным, по дворцам и садам, к заливу, томящего новизной ощущений, манящего недосказанностью чего-то важного, да так и ушедшего напрямик в легенду и тайну, зовущего к себе отовсюду, волшебного, сумасшедшего, трезвого вроде бы, но приглядишься едва, и видно, что под хмельком, а то и под кайфом, просторного, с плеском волны в двух шагах от тебя, с чертежами строений, с парадностью статуй, с наглядностью воли, и мысли, и буйной фантазии, и расчета, и бреда, и сна, несравненного все-таки города, — вот и чудесно, всегда найдется повод для беседы.

Увиделись где-нибудь в компании, где вино, и знакомые лица, и круг интересов, пристрастий, суждений и взглядов у собравшихся здесь, потому что всегда хорошо пообщаться, схож с московским и киевским, да и с прочими, в подобных сборищах, в нашей-то богемной, подчеркнуто независимой от всяческой официальнойщины, свободолюбивой тогдашней жизни, — снова можно поговорить.

Кое-что было в этом от игры, больше — от взаимной вежливости.

Постепенно возникали доверие, взаимопонимание.

...И вспомнил я Глеба Горбовского.

Когда, в пору нашего СМОГа, появлялся он иногда в Москве, у Алены Басиловой или у Генриха Сапгира, на него просто страшно было смотреть.

Страшно — потому, что это был не мужик, а медведь.

Он казался — огромным. Он стоял посреди комнаты — и все крупнел, разрастался, увеличивался в размерах, и в ширину и в высоту одновременно, — и вот из ревущего зверя превращался он в великана — и все продолжал расти и расти.

А между тем был он человеком совсем небольшого, ну — среднего, скажем, роста.

Почему же он так разрастался?

Почему именно таким было незабываемое мое впечатление от него, буйного, шумного, вновь нагрывавшего в столицу и проведавшего друзей?

Да потому, что Горбовский пил.

Был он пьян — постоянно и целенаправленно, ежедневно и ежечасно, в течение долгих лет.

И алкоголь, надо полагать, действовал на него, как дрожжи.

Горбовский от выпивки разбухал. Рос.

Может быть, это благотворно сказывалось на раннем его творчестве. Вполне вероятно. Ведь все у нас может быть.

Во всяком случае, ранние стихи Горбовского, вещей примерно чотыреста, сочинения самиздатовских, без малейших надежд на издание, глухотоманных и жизнестойких, воскрешающих новое слово и пронзительный, зоркий взгляд на события и понятия, давших многим возможность желанную — наконец-то мыслить по-своему, как выходит, не по указке, и поэтому героических, как потом их ни назовут, полных жизни пятидесятых, удивительных все же годов, — поистине звездная — прежде всего для него самого, да и для прочих тоже, без буллы и без всяких прикрас, яркая, колоритная, даже больше, своеобразнейшая, нестареющая, нестираемая, несоргаемая страница в отечественной поэзии.

Все там есть — и лицо, и голос. Все — его. И ничье другое. Узнаваемое — мгновенно. Потому что это — его.

Талантливый человек.

Это именно он, Горбовский, написал полвека назад:

«Когда качаются фонарики ночные и черный кот выходит из ворот, я из пивной иду, я никого не жду, я никого уж не сумею полюбить...»

Небось это многие помнят.

Горбовский в шестидесятых в Москве шумел, разрастался, пил — гектолитрами, казался таким удалцом, богатырем, великаном, русским духом пышущим во все стороны, глазами шальными сверкающим, ручищами сильными машущим, ножищами грузно топочущим, лучащимся обаянием, отчаянным, добрым, подлинным, роскошным, неотразимым, что его и сравнить-то не с кем.

— Володя! Леня! — кричал он мне и Губанову. — Едем! Ко мне! В Питер! Выпьем. Стихи прочитаем. Едем, прямо сейчас! Ух, молодцы, ребята! Люблю. Ценю. Понимаю. Таланты! Нет, больше: гении! Поехали в Питер, ко мне! Пусть там послушают вас! Поехали, прямо сейчас!

(Вот, вспомнил.

И в сердце — грусть.

Былого штрихи.

О, Русь!..)

Но вот по прошествии нескольких лет Горбовский излечился от алкоголизма.

Звали его все так же: Глеб Горбовский.

И он писал стихи. Много писал.

И много издавал книг. Вроде бы — хороших.

Но это были — уже совсем другие стихи.

И это был — другой человек.

Весь он как-то ужался, уменьшился.

Очки завел. Тихим, спокойным стал.

И оказалось, что роста он и в самом деле небольшого, ну, пусть пониже среднего.

Дела у него шли успешно. Даже более чем успешно — по советским, понятно, меркам.

Его вовсю издавали. Все, что он ни напишет, сразу же шло в печать. Все его тексты были правильными для власти. Лирическими. С грустинкой. С любовью к родной природе, ко всем ее проявлениям. К человечеству в целом и в частности к отдельно-му человеку. При всем при том, надо помнить, были тексты — хорошими. Цензуре, даже свирепой, делать там было нечего. Чисто. Не подкопаешься. Без фиг в кармане, подтекста, обходных маневров, намеков нежелательных. Все в порядке. Полнейшем. На сто процентов. Еще и чернила не высохнут на листке бумаги — а текст в типографию так и просится. Вот какие были стихи.

Был он известен. Был — официальным поэтом.

Был членом Союза писателей. Мог ездить в дома творчества. Мог ездить в командировки — тоже, конечно, творческие. Был членом Литфонда, который с годами, в грядущем, должен был обеспечить поэту пенсию.

Был — фигурой заметной. Внушительной.

(И за ним тянулся с молвою зыбкий шлейф его ранних стихов — тех, запретных, еще самиздатовских, тех, которые никогда не издал бы никто на родине, придавая образу Глеба неизменное обаяние, что ему как-то очень шло...

Кажется, уже в конце семидесятых уехавший на Запад Леша Хвостенко, старый питерский приятель Горбовского, напечатал некоторые из этих стихов Глебовых — в Париже, в своем журнале «Эхо». Большая была подборка. Чуть ли не на полжурнала.

Ну а после развала Советского Союза, в пору свободного отечественного книгопечатания, полагаю, легендарные эти стихи в России издали. Наверняка издали. Отдель-

ной большой книгой. Не могло ведь никак завалиться и запылиться такое сокровище. Петербуржцы такого вопиющего безобразия сроду не допустили бы. Абсолютно ко всему, что создано в их городе, отношение у них трепетное. Вот уж где внимание так внимание! И хоть и не попадалась мне такая Глебова книга, но уверен я, что она вышла в свет.)

Его вроде бы ценили. И даже, говорят, уважали.

Но что-то ушло. Исчезло.

Бесследно. Вдруг. Навсегда.

Не было уже ни в поведении, ни в стихах Горбовского куража, полета, парения, взрывчатой силы, дерзости, взгляда насквозь, упрямства, хмеля, верного тона, точности стержневой.

Не было того невыразимого, но явственного, необходимейшего, присутствовавшего ранее компонента, какого-то важного звена в общей цепи, того совершенно особого состояния речи, что, собранное воедино, и делало прежние стихи Глеба — настоящими русскими стихами.

И сам он это — прекрасно понимал.

Генрих Сапгир напрямую спросил его однажды:

— Глеб, скажи мне: почему ты так изменился? Почему стихи твои нынешние стали такими ровными, правильными, без всяких там заковырок, без сучка, без задоринки, хотя и видно, конечно, что писал это именно ты? И куда подевалось все то, роскошное, удалое, грубоватое, первозданное, без всякой самоцензуры, откровенное, смелое, резкое, что всем нам так нравилось в более ранних твоих стихах — тогда, в прежние годы? Что случилось? Может, боишься ты сделать что-нибудь не так? Может, нынче тебе запретили оставаться таким, как есть, то есть — просто самим собой? Может, произошло это потому, что ты больше не пьешь?

И Глеб Горбовский ответил честно и прямо:

— Понимаешь, Генрих, дело вовсе не в том, пью я или не пью. Есть у каждого свой потолок в творчестве. И выше его — не прыгнешь. Я постоянно чувствую этот свой потолок. До него, в возможных для меня пределах, я что-то еще могу сделать. Выше этого потолка ничего я сделать уже не в состоянии. Как умею, так и пишу. Издают. И пишу я все-таки неплохо. Ну а то, раннее мое, что всем вам так нравилось... — тут Глеб глубоко вздохнул и все же нашел в себе силы продолжить: — То мое, сильное, раннее, — вот оно, вполне возможно, и есть мое самое лучшее, что останется. Так бывает...

И действительно, так бывает.

И останутся ранние Глебовы вещи.

Бывает, что ранний период у поэтов — наиболее сильный.

Например, на мой взгляд, — у Губанова.

И даже у Кублановского совсем ранние стихи пусть и не сильны, да все же, при всей их перенасыщенности ляпсусами, а нередко и глупостью, куда милее, симпатичнее, нежели все последующие опусы его.

По-всякому бывает в поэзии.

И не только в ней.

Но и в живописи.

Толя Зверев, например, уж какой ярчайший, фантастический просто художник, и тот в прежние времена сколько раз, бывало, с полнейшим, трезвейшим осознанием сказанного им говорил мне:

— Все хорошее написал я до шестьдесят пятого года. Остальное — халтура.

Не халтура, конечно. Далеко не халтура.

Бывали и в последующее, после шестьдесят пятого, двадцатилетие творческой его жизни, блестящие удачи, множество удач.

Но художнику всегда виднее.

И Зверев, судя по всему, знал — что говорил.

Так и Глеб Горбовский — знал, что говорил.

Основная черта поэзии Горбовского — умиление. Увидит с похмелья муравья в лесу — и умиляется: ах, надо же, муравей! И сразу же стихи про муравья пишет. Увидит, положим, дерево, пускай — осину, и сразу же умиляется, вздыхает, волнуется. И пишет: «Есть дерево осина... мне не хватает сына...» И тому подобное.

Но все это — в более поздних, официальных, изданных в советские годы стихах.

А раньше было — иное.

Раньше было:

«Сижу на нарах, как король на именинах... А мой нахальный смех всегда имел успех, и раскололась моя юность, как орех...»

Вот как бывает в поэзии.

Вот как бывает в искусстве.

...Как-то вышли мы с Костей Кузьминским в Питере в конце июля на улицу, с простой целью: выпивку приобрести.

И столкнулись — с Глебом Горбовским.

Поздоровались. Пообщались.

Горбовский был — ужатым в размерах, тихим, в скромненьком пиджачке, давно уже не взлохмаченным, но с аккуратной стрижкой.

Он спросил нас:

— Куда направляетесь?

— В магазин! — сообщил ему Костя.

Уточнил я:

— Идем за выпивкой!

И тут я заметил вдруг этакий острый блеск в глазах Горбовского.

Подтянулся он. Плечи расправил. И сказал:

— Я с вами пойду.

Костя сказал ему:

— Ты же не пьешь, Глеб!

Горбовский тут же ответил:

— Ну и что? Я так, за компанию.

Мы втроем зашли в магазин.

Стали присматриваться к бутылкам: что же здесь продают? И как же нам умудриться купить побольше питья на скромную набранную нами сумму?

И в Горбовском тогда проявилась нежданно — школа.

Проявился — опыт былой.

Проявилась — практичность пившего, пусть и в прежние времена, да зато широко и с размахом, но и так еще, чтобы на минимум средств закупить желаемый максимум алкогольной советской продукции, человека со стажем, бывалого, словом — русского человека.

— Сколько у вас есть денег? — деловито спросил Глеб.

— Семь рублей, — ответил Костя.

— Всего-то семь, — подчеркнул я.

— Так! — сказал Глеб.

И стрельнул глазами по выставленным на обозрение бутылкам.

Всего-то разок взглянул.

На мгновение. Молниеносно.

И все ему стало ясно.

— Берите только вот это! — не сказал — приказал Горбовский. Повелительным тоном. Властно. И — торжественно. И — по-свойски. Так сказал, как сказал бы, наверно, генерал перед боем решительным. Так сказал, как сказал бы вождь. — Пять бутылок. Вот тех. Денег хватит.

И мы с Кузьминским, прислушавшись к совету собрата по перу, тут же без всяких лишних размышлений и ненужных сомнений купили целых пять бутылок дрянного вермута, именно того, который художник Вагрич Бахчанян, король черного юмора, называл понимающе: «сквермут».

— Ничего, ничего, одолеете! — строгим тоном сказал Горбовский. — Это пойло — что надо. Проверенное. Не для вшивеньких инострашек. Не для всяких там Хемингуэев. Это пойло — для наших сограждан. Для таких, как мы. Для героев. Для луженых наших желудков. Для промывки русских мозгов.

— Ну, спасибо! — сказал Кузьминский. — Вразумил ты нас. Обнадежил. Золотые слова, о мудрейший! Их услышав, сразу захочешь жить в России и вермут пить.

— Никуда вы не денетесь. Выпьете! — преспокойно сказал Горбовский. — А потом еще и добавите. Я-то знаю — что говорю.

И мы, загрузив сумку приобретенным по дешевке «сквермутом», вышли из магазина. Вышли-то мы — втроем.

Но Горбовский с осознанием выполненного долга сразу же попрощался с нами.

— Мне в издательство надо. К редактору, — пояснил он. Потом добавил: — Там, у них, моя книга идет.

— Дело нужное, — молвил Кузьминский. — Дело важное. Неотложное. Понимаем. До встречи, Глебушка!

Я сказал:

— До свидания, Глеб!

(...И вспомнил я вдруг историю, рассказанную мне в шестидесятых Андреем Битовым.

Поехал однажды Андрей вместе с Глебом Горбовским в творческую командировку. Не куда-нибудь, а на Камчатку.

В край таинственный. В дальний край.

Вернее, оба питерских приятеля не поехали туда, а полетели на самолете. Не тащиться же поездом, а потом и на перекладных!

Принимали гостей с Большой земли по-царски.

Показывали достопримечательности.

Знакомили с населением.

Но в основном — поили.

Угощали так щедро, с размахом, от всей дальневосточной души, что прийти в себя после бесконечных застолий не было никакой возможности.

С тоской поглядывал Битов на юг, в сторону Японии, куда мечтал попасть давно и страстно.

Камчатку от Японии отделяла водная стихия.

На самой же Камчатке — бушевала стихия водочная. Спиртовая — так будет вернее.

Пили приятели, пили, засыпали, потом просыпались, похмелялись — и снова пили.

И не было этому обрушившемуся на них морю разливанному ни конца, ни краю.

Плескалось оно и в бутылках, и в помутневшем сознании. Плескалось оно в стаканах, в сновидениях, в разговорах. Ну что за командировка? Не в радость она. Тоска!

Не алкоголь, а вечный двигатель какой-то. И движет он — местными людьми.

Не выпивонщики здесь, а механизмы какие-то. Сколько литров ни вольют в себя — им хоть бы хны.

От непомерных возлияний еще молодые и крепкие в давние годы организмы заезжих писателей были уже на исходе.

Сил у приятелей на все это местное безобразие практически не осталось.

Мечтали они лишь об одном — поскорее вернуться в Питер.

И тут, как на грех, пригласили их выступить по камчатскому телевидению.

Кое-как собрались Битов и Горбовский с духом.

Дотерпеть решили. Домучиться.

А там — будь что будет.

Привезли их на телевидение. Усадили в студии за стол, перед телекамерами. Свет наладили.

И передача — в прямом эфире — началась.

Принаряженная по случаю встречи с известными писателями ведущая спрашивает Битова:

— Скажите, Андрей Георгиевич, понравилась ли вам Камчатка?

Битов, большой специалист по части говорения, хотел было разразиться небольшим, но лихо, как и всегда у него, закрученным, с парадоксами, с обобщениями, с неизменной изюминкой, монологом.

Но чувствует вдруг: не может! Не может двух слов связать.

Выдохся здесь. Устал.

Но ответить хоть что-нибудь — надо.

Кое-как собрался он с силами.

И ответил:

— Страна хорошая!..

И, вздохнув со слезой, замолчал.

Тогда ведущая, что-то сообразив и невольно улыбнувшись, быстро перевела свой внимательный, ласковый взгляд на Глеба.

И спросила Горбовского:

— А теперь вы скажите, Глеб Яковлевич, понравилась ли вам наша Камчатка?

Горбовский сидел мрачный, набрякший и вовсе не слышал вопроса ведущей.

Ему было не до бесед. Он пребывал в борении. Не с самим собой. Хотя и это было тоже немаловажным. Он боролся — с табачными крошками, прилипшими к его губе.

Курево на Камчатке оказалось отвратительным. Табак почему-то не только крошился, высыпался из папирос и сигарет, но эти самые табачные крошки накрепко, словно приклеенные, прилипали к языку и губам.

Тщетно пытался Горбовский сдуть с губы табачные крошки.

Дул, дул, да все попусту.

Наконец, осерчав, дунул он, как полагается. По-богатырски, пожалуй.

Вернее, не дунул, а плюнул.

Прямо в телекамеру.

Табачные крошки, сорвавшись с губы, смешались с вылетевшей из Глебова рта горькой похмельной слюной — и плотным слоем закрепили нацеленный на него объектив телекамеры.

От неожиданности оператор отпрянул назад.

Горбовский вздохнул с облегчением, криво ухмыльнулся — и, покосившись вначале на ведущую, а потом на телекамеру, хрипло пробурчал:

— Херовая страна!..

После чего передачу немедленно прекратили.

А Битова с Горбовским, к великой их радости, по приказанию местного начальства посадили в самолет — и отправили в родной Ленинград.

Вот что вспомнил я, глядя на Глеба Горбовского...)

Мы пожали друг другу руки.

И Горбовский пошел — налево.

Мы же с Костей пошли — направо.

И пришли мы — к нему домой.

И там этот «сквермут» мы выпили.

И его, как всегда, не хватило.

И тогда мы добыли денег. И действительно мы — добавили. Пять бутылок такого же пойла. И успели мы отовариться — до закрытия магазина.

Так что Глеб Горбовский, с его алкогольным немалым опытом, оказался, как видите, прав.

И добавленный вовремя «сквермут» мы с Кузьминским вечером выпили. Но не пять, а четыре бутылки. А одну бутылку оставили по традиции на опохмелку, до утра. И правильно сделали. И здоровье свое поправили.

А потом впереди у нас был целый день. Полновесный. Светлый. Хороший. С приключениями. С причудами. А за ним — и другие дни. А за днями — еще и годы.

Вот какие случались истории — с выпивоном.

А вы — говорите...

...А теперь, мой возможный читатель, — рассказ о чекушке.

Приехал я в Питер летом, в период белых ночей. Когда, как известно, в этом невероятном городе, во всем пространстве — приморском, приречном и приканальном, на всех проспектах и набережных, над ровным, сплошным гранитом, над влагою бесконечной и тягую беспредельной куда-то в края чужие, над всеми его мостами, над храмами и дворцами, над парками и садами с цветущим, пьянящим запахом жасмина, с кустами сирени в разбухших звездчатых гроздьях, над плещущими фонтанами, колоннами и порталами, над фабриками, заводами, вокзалами, кораблями, над памятниками, театрами, пивнушками и дворами с кошмарами Достоевскими, над гоголевскими присутственными, с абсурдом Чинуш, местами, над скопищами коммуналок, над рюмочными, площадями, над стенами, пустырями, стихами, картинами, встречами — витала нездешняя музыка и было светлым-светло.

И меня занесло почему-то — сам не знаю, как это вышло, — не к кому-нибудь там еще из моих петербуржцев знакомых, чье количество было внушительным, и уж кто-нибудь да приютил бы, но к такому из жителей города, у которого все в его жизни не таким, как у прочих, было, человеку, по всем статьям непохожему на других, фантастическому отчасти, а отчасти и сюрреальному, чудаку, поэту, хранителю всяких тайн, сновидений, слов, — ну конечно, к Володе Эрлю.

Просто — надо было где-то переночевать.

Не на улице ведь оставаться.

А с утра — будет видно, что делать, как быть.

Эрль жил тогда не в коммуналке, а в отдельной квартире, в одном из новых районов, уж не помню сейчас, в каком именно.

В отдельной своей квартире — и существовал он отдельно. В первую очередь — отдельно от собственной жены.

Жена обитала — в своей отдельной, изолированной комнате, площадью побольше.

Эрль обитал — в своей отдельной, площадью поменьше, но вполне пригодной для жилья комнате, расположенной поближе к кухне.

Жену эрлевскую так никогда я и не видел. Она все время отсутствовала. Постоянно — подразумевалась. Некоторые приметы и знаки ее эпизодического нахождения здесь, в квартире, иногда обнаруживались. Не без этого. Все-таки живой человек. Дама. Да еще и Эрлева супруга. Законная. Со штампом в паспорте. С пропиской — вот в этой самой, вполне конкретной квартире. Двухкомнатной. Дальней. Отдельной. Вполне вероятно, что и с обручальным кольцом на тонком безымянном пальце с изящно наманикюренным ноготком. Наверное, симпатичная. Или даже красивая. Может быть, добрая, компанейская. А может быть — строгая, замкнутая в себе. Возможно, капризная, мнительная, из таких, что с большими претензиями к окружающим и к условиям жизни личной и жизни семейной. Возможно — с характером ангельским, внимательная, отзывчивая, участливая, всепрощающая, приветливая с людьми. Не знаю. Не видел. Кто она — так и осталось загадкой. Но ее присутствие странное, неизменное, пусть и незримое, ощущал я здесь постоянно. И казалось мне иногда, что откуда-нибудь — из-за шторы, из укромного уголка, из-за двери полуоткрытой, из прихожей, из зазеркалья, — появляясь всегда некстати и тем самым обескураживая, нам рука ее, белая, тонкая, указательным узким пальчиком с укоризной безмолвно грозит. Почему? И за что? Не знаю. И зачем наваждение это испытал я? Поди гадай.

Сам Эрль был налицо.

Тощий — неточное слово. Эрля словно вначале хорошенько намочили, а потом основательно, стараясь всю влагу по возможности сцедить, отжали. Выкрутили руками, как полотенце. И получился — Эрль. Слегка рыхловатый. Будто не успели его отгладить. Худой. Но не анемичный. Крови в нем было достаточно. И энергии — своеобразной. Характерной. Отчасти — с вывертом. Или даже — со сдвигом. С привычным для него элементом абсурда. С парадоксами. И с чудачествами. Как у тщательно им почитаемых, собираемых, изучаемых, драгоценных обэриутов.

Эрля знал я уже давно.

Фамилия его была — Горбунов. Имя и отчество — Владимир Иванович.

Но это его не устраивало.

Сотворил он себе псевдоним.

И стал называть себя по-другому. Так захотелось.

Пожелал он — преобразиться.

И ему это — удалось.

И вот появился — Эрль. Владимир Ибрагимович.

Вроде и тот же самый человек — но уже с остранением, с филологической «штучкой», с отзвуком анекдота, с питерским юморком, с западным, жестким, картавым звуком в самом псевдониме, с ориентальным призывом в отчестве изобретенном, с именем русским, — гибрид? инопланетный гость? может, фантом? персонаж гофмановский? а может, он из народных сказок? Все это вместе — Эрль.

Вот потому и создал он когда-то стихотворение, состоящее, как известно, из одной всего-то строки:

«И яблоки уплыли в море...»

Ну что тут скажешь? Уплыли. Яблоки. Все-таки жалко. И грустновато все же. В море. Ищи-свищи.

Он появился в Москве в мае шестьдесят пятого.

Прибыл на пару со своим другом Сашей Мироновым.

Питерские молодые поэты приехали специально — для того, чтобы записаться в СМОГ.

И мы их — приняли.

Впрочем, об этом визите, а также о последовавших за ним происшествиях, историях и приключениях я достаточно подробно рассказываю в своей книге «Время СМОГа». И посему — вовремя сдерживаю себя.

Но тут я сам себя одернул.

Почему это, с какой стати, всю жизнь я только и делаю, что сдерживаю себя да сдерживаю?

Сколько все это будет еще продолжаться?

Нет уж, хватит с меня. Достаточно!

Натерпелся. Наделикатничался.

Проявлял воспитанность. Выдержку.

Намолчался — за десятерых.

Надоело. Хочу — и стану говорить. Когда пожелаю. И не только в книге о СМОГе. В этой книге. Прямо сейчас.

Итак, совсем еще молоденький, рыжий, худенький Эрль вместе со своим другом, тоже юным Сашей Мироновым, странноватым, задумчивым, тихим, пребывающим в грезах своих, с меланхолией вперемешку, бледным, вежливым, немногословным, прибыл в Москву, где гремел наш неистовый СМОГ.

Из стихов Саши Миронова той поры помню я одну только строчку:

«Перепелка моя, перепелка...»

Из эрлевских стихов припоминаю:

«В глубине ладони взгляд, как внутри двора...»

Вроде бы так.

Ленинградские гости сразу же с головой окунулись в московскую бурную жизнь.

Бесконечные встречи. Чтения. Разговоры. Понятно, выпивка. Люди, люди. Самые разные. Непрерывная круговерть.

Средств у Эрля с Мироновым было в обрез. То есть лишнего попросту не было. Может, что-то и отложили про запас, на билеты обратные. Но в московской крутой повседневности с фееричностью ежедневной не хватало им денег хронически. Развлечения тут ни при чем. Не хватало и на еду.

И тогда изобретательные поэты продемонстрировали нам простейший способ скромного, без излишеств, но зато постоянного, с полной гарантией, заработка.

Они входили в автобус или в троллейбус.

Везде в городском транспорте введено тогда было самообслуживание. Кондукторы отсутствовали. Ближе к задней дверце, там, где заканчивались сиденья для пассажиров и начиналась площадка, на которой люди стояли, располагалась касса, представлявшая собою примитивное сооружение, укрепленное на полу, и верх его был прозрачным, со щелочкой, куда полагалось бросать мелочь, оплату за проезд, а низ был металлическим и напоминал поставленный на попа длинный ящик, и туда, вначале скапливаясь в верхней части кассы, постепенно сами собою сыпались с характерным звоном и грохотом все монетки — и медь, и серебро; сбоку же от кассы прилажен был узкий бумажный рулончик с напечатанными на нем билетами, и каждый из пассажиров, бросив сперва мелочь в кассу, сам отрывал для себя проездной билет. Считалось тогда, что все граждане у нас честные, порядочные, разумные — и сами себя вполне способны обслужить. Оплатить свой проезд и оторвать себе самому билет — пустяковое ведь занятие, даже не дело, согласитесь. Это вам не за станком на заводе стоять, выполняя и перевыполняя производственный план. Зачем советскому человеку нужны какие-то там кондукторы, и тем более — контролеры? Люди у нас в стране — сплошь сознательные, без всяких там ухищрений и махинаций в их повернутых в нужную сторону, то есть в даль, где грядет коммунизм, агитацией просветленных головах, из которых

каждая — дом советов, ни больше ни меньше. Все для блага и все во имя человека в советской стране! В том числе и общественный транспорт. Оплати свой проезд, товарищ, трудовыми своими копейками — и на все четыре стороны света, видного всем и каждому, с ветерком по любимой столице преспокойно себе поезжай!

Эрль, метнувшись к автобусной кассе, тут же бросал в нее копейку или двухкопеечную монетку, причем проделывал это виртуозно, так, что громкое звяканье разносилось по всему салону и долетало до слуха водителя.

Затем он отрывал два билета — себе и Саше Миронову.

После этого разворачивался лицом к входящим в транспорт пассажирам и призывно вещал:

— Не бросайте монетку, пожалуйста! Не бросайте монетку!

Подразумевалось, что он бросил в кассу, допустим, двадцать копеек или даже сумму покрупнее — и теперь ему нужна была сдача.

Такое и в самом деле периодически случалось.

Пассажиры к этому давно привыкли.

И люди вместо того, чтобы опустить свою мелочь в кассу, безропотно отдавали ее Эрлю. А себе — отрывали билеты. Никто сроду и не подумал бы в чем-нибудь усомниться.

Эрль набирал некоторое количество мелочи. Делал знак Миронову — и приятели выходили на ближайшей остановке. Там — ждали следующего автобуса или троллейбуса. И процесс повторялся. Так набирались деньги на дневные расходы.

Эрль никогда не перебарщивал. Меру знал. Подолгу в транспорте застревать не следовало. Мало ли что! Вдруг заподозрят их в жульничестве? Вдруг советский какой-нибудь гражданин возьмет да и проявит бдительность? Лучше уж — подальше от греха.

С изумлением наблюдал я за эрлевскими спектаклями.

Риск был, конечно, пусть и небольшой. Выручала отработанность приемов. А также некоторая солидность, выдержка, несколько чопорная невозмутимость Эрля. Сразу видно: интеллигент. А такой не надует. И Миронов, со своей неотмирностью, тоже на махинатора никак не походил. Одним словом, питерцы. Культура. Воспитанность. Школа. Это их обоих крепко выручало.

Вырученных таким простейшим и артистичным способом денег, однако, хватало им обоим — и на еду, и на курево, и даже на выпивку, если в долю с нами входили, когда все мы скидывались на бутылку-другую.

Так что, если перефразировать эрлевские стихи, в глубине ладони взгляд его различал частенько зажатые там, пусть и виде собранной мелочи, но вполне реальные деньги, не попавшие в кассу, да, так, но зато прямиком попавшие к Эрлю.

Иногда Эрль проявлял свой накрепко сросшийся с собственным псевдонимом юмор.

Прочитал я ему однажды написанное в те же майские дни стихотворение, в котором были строчки: «Человечеству нужен урок, чтобы чудилась говора таль».

— Как, как? — живо переспросил Эрль. — Урод?

— Не урод, а урок, — сказал я.

— А лучше бы сказать — урод! — скривился он в ядовитой усмешке. — Вот было бы здорово — человечеству нужен урод!

— Ты это брось, — осерчал я. — Полегче на поворотах!

— Да я что? Я ничего! — тут же вывернулся Эрль. — Просто поворот, сам ход с заменой буквы мне понравился. Здорово все меняется, Сам бы я так написал.

— Не поворот, а выверт, — сказал я. — Пиши, как ты пишешь. А я уж буду писать так, как считаю нужным.

— Да ты не сердись, Володя! — запричитал Эрль. — Ну подумаешь, сорвалось!

— А я и не сержусь. Просто кое-что увидел и понял.

На том и замяли дебаты.

...И тут вспоминается мне великое, право, действо.

Игра в баскетбол — без мяча.

Однажды, все в том же мае, отправились мы с друзьями в Парк культуры и отдыха имени Горького. Пива попить. Поближе к природе. И отдохнуть, конечно.

Мы — это я, Дима Борисов, Володя Брагинский и Михалик Соколов.

Мы с Михаликом были уже изгнаны тогда из МГУ — из-за СМОГа прежде всего, а в довесок, для маскировки — еще и из-за спровоцированного недругами отбывания нами «пятнадцати суток», причем без малейшей нашей вины.

Сам Руслан Хасбулатов, предводитель тогдашний университетского комсомола, спустился тогда, как с гор, из кабинета своего, всеми называемого «саклей», находившегося в высотном здании МГУ на Ленинских горах, спустился вниз, в долину, в старое университетское здание на Моховой, дабы самолично вершить над нами расправу, клеймить и казнить, дабы изгнать нас с Михаликом из рядов комсомольцев, что и сделал на общем собрании, при огромном скоплении студентов, аспирантов и преподавателей.

И оказались мы с Михаликом в непривычной для нас роли пострадавших.

Некоторые даже считали нас мучениками.

На Руси всегда сочувствуют пострадавшим за правое дело.

И всегда таким людям стараются помочь. Уж как у кого получается. В меру сил своих и возможностей — испокон веков — помогают.

Помогали и нам.

Сочувствием же была переполнена вся Москва. И не только она. Вся страна. Выражали сочувствие и за границей.

Терновый венец мученичества ощутил я тогда на вихрастой своей голове.

Ореол героя тоже сиял над моей головою.

Ну а что касается славы молодого гения, то таковая приобрела небывалые масштабы.

Словом, был я звездой. Гонимой кагэбэшниками и властями. Непечатной. Полузапретной. Но зато — настоящей звездой.

Глядя на меня, и Михалик старался держать себя в руках. Ему это непросто давалось. Но он был упрямым. Стоиком. И поэтому тоже старался устоять. Из беды — восстать.

И вот мои, а заодно и Михаликовы друзья, Дима Борисов с Володиёй Брагинским, подерживая нас по-своему и сочувствуя нам по-братски, пригласили нас попить пивка.

Оказалось вдруг, что незаметно присоединились к нам и Эрль с Мироновым.

Никто не возражал. Хотят быть вместе — так пожалуйста.

Мы пили пиво и разговаривали.

Потом — решили прогуляться.

В парке набрали мы на баскетбольную площадку. Совершенно пустую. Вокруг — никого.

И вдруг — так бывает со мною — меня осенило.

— Дима, держи мяч! — закричал я Борисову и бросился вперед.

Борисов — мгновенно все понял.

— Володя, держу! Пас! — ринулся он за мной.

Потом все понял — Брагинский.

— Ребята, ребята, давайте! — кинулся он за нами.

Потом все понял — Михалик.

— Сюда! — закричал он. — Я здесь! — и сразу помчался к нам.

И мы вчетвером — без мяча — принялись играть в баскетбол.

Мяч был — воображаемым.

Реальными были — мы.

И мы играли — азартно, увлеченно, самозабвенно. Играли — на всю катушку. Играли так, чтобы в нашей игре всех победить — без мяча.

Эрль с Мироновым, как увидели происходящее, так и застыли на месте с широко раскрытыми ртами.

Такого они не видывали сроду. И предположить не могли, что такое — бывает.

Вот это был сдвиг. Поворот. Абсурдный. Сюрреалистский.

Такой авангард, что куда там до него Ионеску, Хармсу, Кафке, Беккету и Дали!

Мы играли так увлеченно, что воочию видели мяч, хоть мяча никакого не было.

Мы играли — с аттической силой.

То была не игра, а миф.

Боги нас в небесах одобряли.

И герои болели за нас.

Мы играли — с библейской силой.

То была не игра, а притча.

К нам присматривались пророки.

Нас приветствовали мудрецы.

Мы играли — с ведической силой.

То была не игра — легенда.

Нам жрецы подавали знаки.

Нам сочувствовали волхвы.

То была не игра — но песня.

Пробудившаяся былина.

И не присказка. Просто — сказка.

Выход в космос. К мирам иным.

Наши судьбы тогда прозрел я. И четыре пути увидел. На четыре стороны света — все четыре наши пути.

Мы играли — забыв о времени. О земном. Потому что с нами было наше, иное время. И пространство нам открывалось небывалое, ибо в нем измерений так много было и миров параллельных, что с ними высветлялось грядущее наше — где-то там, в золотой дали.

Мяч незримый — взлетел с земли.

Взвился ввысь. Пролетел сквозь мрак.

И сквозь век — произрос, как злак.

То-то ждет он от нас — труда.

Корни мысли — вверху всегда.

Похоже, мы предвосхитили тогда знаменитый аналогичный эпизод в одном из фильмов Антониони, появившемся значительно позже.

А между тем по всем четырем сторонам баскетбольной площадки давно уже начали собираться находившиеся в парке люди. С каждой минутой становилось их все больше. Никто из них ничего не понимал. И все они как замороженные смотрели на нашу игру. Может быть, они воображали себе не существующий в действительности мяч? А может, как раз его отсутствие так их притягивало? Кто знает! Но некая властная магия, несомненно, действовала — и это именно ее влиянием объяснялось наличие стольких зрителей — безмолвно взиравших с близкого расстояния на нас — и сквозь нас — и, наверное, тоже видевших что-то особое — там, за нами, за нашей игрой.

Бросили мы играть столь же внезапно, как и начали.

И все многочисленные зрители наши тут же разошлись, буквально растворились в теплом предвечернем воздухе, в майском парке, в прожилках зелени на холмах, над Москвой-рекою, а возможно — в других мирах или, может, в других измерениях, — там, наверное, куда недавно улетел наш незримый мяч.

И остались только мы четверо на пустой баскетбольной площадке.
Да еще — Эрль с Мироновым. Рты они не успели еще закрыть.
А потом они рты закрыли. Вроде были в полном порядке.
Но отчетливо и печально понимали: им нечем крыть...

...А теперь — возвратимся к Эрлю.
Вот он. Ждет: что скажу о нем?
Где он — тем давним днем?
Да там же, в своей квартире.
Значит, присутствует в мире.
...И я свободно перехожу прямо в лето семьдесят второго, чтобы там пообщаться с ним.

Был я — гостем. Почти почетным. Из Москвы. С дороги. Усталым. Уважаемым. Легендарным — для тогдашней поры — поэтом. Современником. Собеседником. Со-бутыльником — иногда. Был — пришельцем. Скитальцем. Бездомничал. Колесил по стране. То отшельничал, то вторгался в брожение божественное. Был — самим собой. Как всегда.

Эрль меня — принимал у себя.

Принимал — с присущей ему одному, несколько утрированной учтивостью, подчеркнуто церемонно, даже торжественно, картаво произнося всяческие многозначительные фразы, сопровождаемые и поддерживаемые, прямо по ходу всех его несколько витиеватых речей, рассчитанно-небрежными, напоминающими пассы провинциально-го фокусника жестами, а также принимаемыми и так и этак, неестественно вычурными и вымученными позами жреца искусств и глубокомысленными взглядами.

То есть — находился в образе.

Пребывал в силовом поле своего псевдонима.

Шел спектакль одного актера. Любопытный. И даже забавный. Но — уже по шаблону. По схеме отработанной и утвержденной. Были штампы. Сплошные натяжки. И повторы. И сбои, конечно, неминуемые. Ум за разум, безусловно, здесь заходил. Я почувствовал: Эрль — заигрался.

И мне это вдруг надоело.

Я просто взглянул на него. Всего-то единственный раз. Но — так, что насквозь увидел.

И Эрль — изменился. Мгновенно.

Вначале — порозовел. И тут же побагровел. Потом побледнел. Вздохнул. Тряхнул головой. Улыбнулся. И стал — тем, кем был. Собою самим. Славным парнем. Володей Эрлем. Человеком хорошим. Грамотным. И начитанным. И колоритным. Все его — при нем оставалось. Тем и был интересен он мне.

И мы с ним — общались. Почти по-дружески. Пусть и с дистанцией. По-приятельски — так вернее. По-хорошему. И по-доброму. Так, что было обоим нам интересно. И это — главное.

И показывал мне тогда Владимир ибн Ибрагимович, славный Эрль, кое-что из несметных сокровищ своих.

Аккуратнейшим образом перепечатанные лично им, Эрлем, стихи обэриутов.

Большие, многочисленные, ровные стопки белой бумаги.

Тексты, практически подготовленные к печати.

И стихи свои мне показывал.

И стихи своих приятелей питерских.

И работы Элика Богданова, нарисованные частью на свободе, ну а в большинстве своем — в дурдоме, с помощью то красок, то таблеток самых разных, в просторечии — колес.

И надмирные, а может, неотмирные, зазеркальные, а может быть, астральные, небывалые богдановские тексты — в форме писем, то из ада, то из рая, или записей о чем-то сокровенном, Эрль показывал страницу за страницей — и при этом был печален и задумчив, о нелегкой доле друга рассказав.

И, таинственно приложив длинный палец к узким губам, повел меня Эрль в комнату отсутствующей супруги — и увидел я там, в тишине, в полумгле, висящий на стене великолепный холст работы Бориса Григорьева.

И много еще чего показывал мне Эрль.

Мы с ним выпили. Понемногу.

О житейском поговорили.

А потом — закончился день.

И настал петербургский вечер.

Эрль принялся варить себе чифирь. Причем вовсе не так, как это принято. Но как все у него — по-своему.

В кастрюльку с водой высыпал он большую желтую пачку индийского чая «со слон» — так все этот чай называли, поскольку на пачке весом в двести пятьдесят граммов нарисован был именно слон.

Хорошенько прокипятил образовавшуюся в кастрюльке густую, темно-коричневую, почти черную по цвету бурду — и залил ее молоком.

Бурда посветлела, став неопределенно палевой, с белесыми завихрениями, и напоминала то ли какао, то ли кофе со сгущенкой.

Эрль довольно потер ладонь о ладонь, словно заранее ощущая вкус приготовленного им напитка.

И стал ждать, чтобы его чайно-молочный чифирь отстоялся.

Намотревшись на этот ритуал, я спросил Эрля:

— Молоко-то зачем?

Эрль повернул ко мне рыжую голову и непререкаемым тоном знатока солидно и уверенно сказал:

— Чтобы не тошнило!

Потом налил себе чашку чифиря — и уселся за стол.

Ему пора было работать.

По ночам он писал свой роман.

Вот и нынешнюю, только начинавшуюся и вовсе не темную, а светлую, белую ночь намеревался он посвятить литературным своим трудам.

Роман Эрль писал в общей тетради большого формата, напоминавшей амбарную книгу.

Именно в таких тетрадях записывал свои стихи друг моей молодости Леня Губанов.

Оказывается, и Эрль питал к таковым пристрастие.

Свой роман Эрль писал набело.

Белые страницы тетради были аккуратно исписаны шариковой ручкой с красной пастой.

Издали могло показаться, что написано это — кровью.

Эрль устроился за столом поудобнее, отхлебнул изрядный глоток чифиря, придвинул к себе тетрадь, открыл ее на нужной странице, взял шариковую ручку с красной пастой — и, слово за словом, строка за строкой, набело, принялся продолжать свой текст.

Буква к букве, мелкие, ровные, собирались в четкие фразы, и страницы, доселе белые, постепенно густо краснели, потому что на них разрастался сочиняемый Эрлем роман.

Петербургская белая ночь и не думала завершаться.

Ведь ее как будто и не было.

В мире ночи не было — тьмы.
Ночь была светла и огромна.
Эрль сидел и писал свой роман.
Я попробовал задремать.
Не спалось. Почему — не знаю.
Выпить — не было ничего. Из спиртного. Ну что ж, обойдемся. Не впервые.
Переживем.

Ну, а эрлевский странный чифирь пить решительно я не хотел.
Наконец удалось мне заснуть.
А вернее — забыться. На время.
И тогда мне пригрезилась вдруг — вся в сиянии нового дня, в высоте надо мной — чекушка.

Да, не что-нибудь там, а чекушка.
Четвертинка — так можно сказать.
Запечатанная, целехонькая, с водкой, это само собой.
Для меня — наверное, свыше приготовленная — чекушка.
И тогда уж я крепко заснул.

...Наутро, и даже весьма поздним утром, почти днем, пробудившись, я увидел Эрля — видимо, прошедшего всю ночь в работе, но совершенно свежего, без тени усталости, сидящего за столом и невозмутимо попивающего чаек.

Покосился я на рабочий эрлевский стол, на лежащую на нем раскрытую общую тетрадь — и сразу же заметил, что текста в ней прибавилось примерно на четверть.

Я умылся. Выпил чашку чая.
И сказал почему-то:
— Чекушка!
— Где чекушка? — не понял Эрль.
— Где-то там.
— Почему?
— Не знаю.
— Как-то странно! — промолвил Эрль.
Я спросил:
— Где у вас есть пиво?
— Хочешь пива?
— Наверно.
— На станции.
— На какой еще?
— Ну, на платформе электрички.
— Тогда пойдем!

И вышли мы из эрлевской квартиры — в сиянии начинавшегося дня.
И добрались мы до пресловутой станции.
Пивнушка там имелась, но она была закрыта — и висело на стене короткое, скупое объявление, без лишних слов и нервов: «Пива нет».

И тогда различил я музыку, тихо льющуюся откуда-то с полных ясного света небес.
И поднял голову к небесам.
И явилось мне — волшебное видение.
Высоко, совсем высоко, на какой-то нелепой, решетчатой, с грубо выломанными кусками, деревянной ограде, в самом дальнем и высоком уголке стояла чекушка водки.
Да, та самая, пригрезившаяся мне ночью чекушка.

Целехонькая. Никем вокруг не замеченная.

Дожидавшаяся — меня.

И сказал я Эрлю:

— Чекушка!

— Где чекушка? — не понял Эрль.

— Там чекушка! — и я указал на нее, подняв палец вверх.

Эрль воскликнул:

— Вот это да!

И сказал я тогда:

— Попробую до нее добратся!

И стал по ограде лезть — выше, все выше.

И — достал. И спустился вниз.

— Вот чекушка! — сказал я Эрлю. — Мне пригрезилась ночью она.

Эрль сказал:

— Коли так, то и выпей ты ее. Сам. Какая-то мистика. Пива — нет. А чекушка — есть.

Я сказал:

— С удовольствием выпью.

И нашел я стакан на столике.

И открыл зубами чекушку.

И налил я водки в стакан.

И привычно, духом одним, эту водку тут же и выпил.

И сияние нового дня пронизало меня насквозь.

И прилив богатырских сил ощутил я тогда мгновенно.

И хватило мне их — надолго.

И на Питер. И на Москву.

И на все грядущие годы.

И на все мои — в них — стихи.

То-то явью стал питерский сон.

Вот какая была чекушка...

...В декабре девяностого снова приехал я в Питер.

Прибыл я сюда на сей раз отнюдь не по собственному желанию, то есть спонтанно, стремительно, по зову какому-то смутному, по скитальческой жилке своей, из-за вечной моей потребности в новизне, по всегдашней тяге к перемене мест, к тем открытиям, что дает лишь движение в пространстве, ощущение пути своего, — но вполне официально, по приглашению самих петербуржцев, — получать присужденную мне — в моем возрасте, зрелом весьма, после всех испытаний жизненных и написанных мною книг, — ими, знатоками и ценителями новейшей поэзии и прозы, их же премию — имени Андрея Белого.

За выдающиеся достижения в отечественной словесности — вроде так пояснили мне прямое ее назначение.

Раньше, насколько помнится, премия эта выглядела так:

одна бутылка водки, которую получающему премию следовало прямо на месте распить с тем, кто ее вручает;

одно яблоко;

а также один-единственный рубль — символическая денежная сумма — поскольку не в деньгах, как известно, счастье, а серьезное внимание со стороны некоторых грамотных современников к творчеству определенных поэтов и прозаиков само по себе приятно, да и вообще дорогого стоит.

Но теперь, было сказано заранее, мне вручат не просто рубль, но немалую по тем временам сумму, а конкретнее — целых восемьсот рублей.

Я слегка удивился вначале: что еще за щедроты такие?

Но потом, поразмыслив, решил: раз настроены на щедроты, пусть попробуют их проявить.

Дирижировал премией Боря Останин. Человек, известный в Питере и за его пределами.

Позвонил он мне и сказал:

— Обязательно привези свои книги. Да побольше. Я их здесь, у нас, легко распродам. А деньги сразу отдам тебе. Для семьи, на пропитание, пригодятся.

Я сказал:

— Книги тяжелые. Как их тащить? Я ведь один.

Боря воскликнул:

— Ты как-нибудь дотащи. А я тебя встречу на вокзале.

Я сказал:

— Но книг у меня — из той части и так небольшого тиража, что мне принадлежит, — не так уж и много.

Боря сказал:

— Книги твои нужны. Ни о чем не переживай. Я все беру на себя.

Приобрел я билет на поезд. Заполнил книгами рюкзак и дорожные сумки. Да и поехал — навстречу то ли премии, то ли водке, то ли яблоку, то ли рублю, то ли еще чему-нибудь — непредвиденному, с абсурдом, с заковыринкой, с завихрениями, — самому небось Андрею Белому, с «Петербургом» его, с мистичностью, с ананасом, зачем-то запущенным сквозь декабрьский снег в небеса.

Останин действительно встретил меня на вокзале.

Схватил то из поклажи, что потяжелее, легко потащил.

Привез меня к себе домой.

Туда же, в Борину квартиру, прибыла, тоже для получения премии, поэтесса Оля Седакова.

Была она до странности похожа на мою старинную питерскую знакомую Олю Назарову. Что ж, такое случается.

Поглядывая на меня из-под ахматовской челки, Седакова сказала:

— Вот вы какой! Давно я хотела с вами познакомиться.

Познакомились. Перемолвились словом-другим.

Седакова отправилась приводить себя в порядок с дороги, переодеваться.

Вышла, нарядившаяся для церемонии. Туфельки на каблучках приготовила.

Говорили о чем-то — Останин с женой и детьми, Седакова и я.

Что-то вроде бы ели — но что? Пили чай или кофе.

Коротали дневные часы.

Просто — вечера ждали.

И пришел этот вечер.

Куда-то поехали мы.

И Останин Борис нас на место привез — неизвестно куда. И привел в переполненный публикой зал. В нем вручать собирались премии.

Не забыл Борис прихватить с собой и рюкзак с моими вышедшими книгами.

Рюкзак он поставил на пол, раскрыл — и тут же принялся доставаемые оттуда книги продавать обступившим его петербуржцам.

Деньги складывал в свой карман.

Я решил ему не мешать и отошел в сторонку.

Знакомых сразу встретил. Разговорился с ними.

И вдруг я увидел — Эрля!

Он шел сквозь толпу ко мне, потирая исцарапанные бритвой щеки.

— Володя! — сказал Эрль. — А я недавно побрился. Специально. Из-за тебя. И у меня борода была. Рыжая. Вроде твоей. Но, чтобы не быть на тебя похожим, я свою бороду сбрил. И теперь привыкаю существовать — без бороды. Непривычно как-то. Неуютно. Да что поделаешь!

— Мог бы и не сбривать свою бороду! — сказал я, здороваясь с ним. — Похожими быть мы с тобой никак не можем. Совершенно разные мы с тобой.

— Точно?

— Точно. Посмотри на себя в зеркало. А потом взгляни на меня. Ну что, убедился?

— Убедился.

— То-то же!

— Эх! — принялся сокрушаться Эрль. — И зачем я свою бороду сбрил? Так ты и не увидел меня — бородатого!

— Не переживай. Новая борода отрастет.

— И то правда! Вот и цель в жизни снова появилась — новую бороду поскорее отрастить!

— Действуй!

— А я тоже премию получать пришел, — сказал с гордостью Эрль. — И меня выдвинули. И вот я здесь.

— Ну и замечательно, что ты здесь.

Мы вполне бы еще могли не спеша побеседовать с Эрлем.

Но события развивались в темпе если и не стремительном, то довольно быстром. Все в зале оживилось. И свет погас. И в сиянии прожекторов перед всеми предстала сцена.

И тогда на пустую сцену вышел рослый Боря Останин и заполнил ее собою — так, что разве чуть-чуть осталось где-то сбоку свободного места, остальное же все было занято, словно армией целой, Борей, им одним, великаном разросшимся от приятного осознания исторической роли своей, полновластным распорядителем действия нынешнего, раздатчиком всех возможных грядущих благ.

Фанфары, правда, не звучали. Барабаны тоже не гремели. Это просто подразумевалось. Достаточно было всеобщего ажиотажа.

Заметались по залу с видом тертых калачей неведомые люди с телекамерами и фотоаппаратами.

Публика устроилась поудобнее на своих местах.

Гул нестройный людской затих.

Началась процедура вручения премий.

Боря Останин со сцены произносил всякие громкие слова.

Потом вызывал к себе лауреатов, по очереди.

И мы, один за другим, поднимались на эту сцену.

Получил я из Бориных рук обычный конверт с деньгами. Никакого диплома о премии не было почему-то. Ну, может быть, так у них полагается. Кто его знает! Постоял немного на сцене, шурясь от изобилия света, и вернулся на место, в зал.

Потом на сцене оказался Эрль. Рыжий, порозовевший, с выбритыми щеками. Получая деньги свои, он изогнулся в поклоне — и, к изумлению собравшихся, этак отчасти кривляясь, отчасти подобострастно, Боре Останину руку с чувством поцеловал. После чего удалился со сцены, совсем уже красный, словно под кайфом, покачиваясь, и растворился внизу, и лишь рыжизна его где-то вблизи, в сторонке, вспыхивала порой спичкою в полумраке.

Далее на сцену поднялась принаряженная, как на праздник, в тужельках на тонких и высоких, цокающих звонких каблучках, с челкою ахматовской, с глазами любознательной филологини, поэтесса Оля Седакова. Тоже получила свой конверт. И Бориса поблагодарила, расцветая. И вернулась в зал.

Обошлось, насколько помню я, без бутылки водки пресловутой, яблока и скромного рубля.

А по восемьсот рублей в конверте — каждому из нас тогда вручили.

Премии. За долгие труды.

Чудеса? Причуды? Сновиденье?

Плеск воды и отсветы звезды?

Что же дальше было?

Наваждение.

Только церемония с вручением премий успела закончиться — все присутствующие в зале как с цепи сорвались.

Все как один ринулись в буфет.

Происходила церемония вроде бы в клубе каком-то. Или в доме культуры.

Имелся там буфет. Просторное помещение. Немалое число желающих могло в нем расположиться.

В буфете продавали коньяк. А возможно, и другие напитки. И даже закуски там были. Разрешалось там даже курить.

И вот началась там обычная пьянка.

Выпивали там — все. И курили. И галдели. Читай: говорили.

Мелькали в табачном дыму исцарапанные по причине спешного бриться и желания быть на меня непохожим щеки Володи Эрля.

Поклонники роем густым окружали поэтессу Олю Седакову.

Со свободным от проданных книг моих, пустым рюкзаком под мышкой и с деньгами за книги в кармане прошагал к выпивающим питерцам рослый, бодрый Боря Останин, взял стакан с коньяком со столика, выпил, крикнул молодежато, приосанился, сдвинулся с места — и куда-то пропал. Как будто кто-то стер его вдруг с листа, как излишний штрих карандашный.

Что ж! Выходит, что и такое хоть и редко, но все же бывает.

Ничего не попишешь. Тайна в этой сказке должна ведь быть.

Борю, видно, не возвратить.

Как и книги мои. Увы!

Это Питер. Он — вне Москвы.

Деньги за книги Боря Останин так и не отдал мне.

Давно уже мы, господа и дамы, живем в свободной стране.

Ведь тридцать лет прошло. Пора бы и отдать. Но Боря грамотно об этом забывает. И только время наше мне напоминает, что денег ждать — как век свободы не видать.

Надоела мне вся эта свистопляска с вручением премий и с неминуемым приложением — всеобщими возлияниями в насквозь прокуренном буфете клуба или дома культуры.

Знакомых старых я уже увидел.

И понял то, что должен был понять.

И меня потянуло — в город...